

требления валиума. Средний американец съедает фунт валиума в год и использует четыре галлона воды ежедневно. Вообще же говоря, АМЕРИКА – страна невероятного пищевого разнообразия. Всё дело в толерантности. Однажды ночью пассажира морского такси, временно остановившегося в мотельчике где-то в районе перистых облаков, разбудила уборщица, с топотом гонявшаяся по коридорам за летучими мышами с увесистым красным сачком. Он вышел из двери со свечкой на блюдце и возмутился. Пристыженная уборщица, залившись румянцем, объяснила, что пытается наловить этих «тварей» к воскресному завтраку её подрастающих тинэйджеров-сыновей. «Эти упыри объедают меня с головы до пят,» – просто и грустно сказала она, умоляюще сложив руки. Пассажир морского такси задумчиво сморил её долгим взглядом, дважды кивнул головой и прикрыл за собой дверь. Сев у окна, он отлепил от лужицы застывшего воска приставшую ночную бабочку, положил её под язык, вдруг припомнив юность, и, уже не в состоянии даже думать о том, чтобы уснуть, стал писать письмо домой.

НА СТУПЕНЯХ

Те, кому удаётся добраться до крыш, знают, как непросто это сделать. Долгие переезды в лифтах, делающихся кверху всё уже, плоше и быстрее, выматывают больше и дольше, чем иная практика. Иногда мерещится, что осталось только переступить порог – и окажешься в свистящем холодном пространстве, а под ногами поплывут быстрые волоски облаков, птички закружат хвостиками, заплетут стальные кружева наружных стяжек. Но всякий раз повторяется одно и то же: звонок в дверь, звук отодвигаемой задвижки, шаг внутрь, может быть, если повезёт, протянутая рука, а потом – выход на чёрную лестницу, и снова шаткие деревянные мостки, и новые пролёты, и порванные, заштопанные колени снова расползаются по швам, и, взобравшись на площадку, опускаешься на голые колени и, уперев лицо в перила, смотришь на лабиринты промежуточных крыш, оставшихся лежать кавернистым ландшафтом под тобой, не зная уже, каким путём привело тебя сюда; а из дверей других чёрных ходов уже выглядывают чужие любопытные дети в маленьких тапочках и облачках волос и чужие старики, пахнущие нафталином; и поэтому приходится вставать, сгребать остаток вещей, стряхивать свой след со ступени и, неудержимо оборачиваясь на эти африканские плоские крыши там внизу, пытаться выгнать из себя чувство потери, и когда оно вытечет полдневной слезой, уцепляться

что ббб следует за 17, а 3 – за 12
 зарастающий ум
 отказывается думать о чём-то кроме
 дель фиоре. цветы. цветы.
 сбросив ношу с себя в отеле
 «звезда голливуда», в круглой утробе
 дель фиоре ставишь ступни
 на поперечные рёбра ступени
 проводя рукой по бетону и вдыхая
 чьи-то чёрные волосы
 усталые ноги впереди под юбкой
 она тоже хочет вверх
 прочь от адских пыток огнём
 я смотрю в оконце с монету на город
 и по продольным рёбрам дель фиоре
 дважды в уме съезжаю вниз.

ВЕНЕЦИЯ

огромные часы на песочном доме:
 тесная площадь выпучивает рыбий глаз
 громоздкое небо втиснуто в узкую рамку
 и перечёркнуто синим и белым бельём
 над каналом
 бельё пахнет рыбой
 вода лагуной
 лагуна катером
 водное такси
 площадь святого марка перемежается
 крабами
 а окна дворца дождей водой и рыбой
 я весь день извиваюсь как цепень
 в прямых, в узких, в толстых кишках
 противно белая в еде
 окрашенной
 красным
 белым
 зелёным
 а в конце дня
 не успев отложить яйца
 уже бултыхаюсь в сливе лагуны
 ища следующую рыбу

БЕРЛИН

тяжёлое лицо. запахом
 отсырелого жёлтого пепла
 из-под бурого угля пахнет
 рот берлина в лицо – моё пока моё
 пока лицо – сколько раз
 город ты скажешь слово чужой.
 поцелуем с берлинской стены
 физиопсихоразворотом
 берлина родной жадный рот
 в мои чужеродные губы вопьётся:
 сколько раз прокушу и упыюсь
 до жестокости серым
 нёбом берлина

за стальную трубу пневмопочты и знать, что внутри неё пока ещё течёт твоя кровь, и слеза, и твой, может быть, уже почти последний вздох.

ГОЛЛИВУД

В песочной трубочке с шуршанием осыплются минуты. Лёгкий шёлк украшает постель. Как нежные медленные черви, козлята долго совокупаются у стены. Оперев попку на грубый чурбак, козочка широко распахивает копытца, и на её розовую ранку падает процеженный через матовое стекло свет. Прижатые ушки страстно трепещут, и по шероховатому сосцу сползает голубоватая слеза молока. Нос у неё проткнут пирсингом, а тонкое бедро украшает замысловатое татту. Козочка закидывает голову, козлик жалостливо блеет и, несмотря на предупреждения, бегущие титрами по низу кадра, высовывает длинный лиловый язык напиться по козлиному обычаю. Электрическая лампочка с треском взрывается, слышны поспешные звуки, мелькают какие-то ножи, потом опускается затемнение. Это, конечно, запрещённый для широкого проката контрабандный заокеанский фильм, снятый по мотивам этнических сказаний. Я смотрела его в элитной частной студии, при довольно сложных для описания обстоятельствах.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Синеватый свод удерживает поверхностное натяжение большого бассейна. Голубой кафель форсируют ноги затаенных в синтетику большеплечих красавиц. Слышен удар гонга, но как-то в стороне и приглушённо; красавицы, недоумевающие, переглядываются. Одна из них, может быть, самая прекрасная, стягивает резиновую шапочку и тщательно массирует кудри. Испуганный судья подбегает к ним; его короткие ноги выглядят нелепо. Он истошно машет рукой, так что им ничего не остаётся, кроме как прыгнуть в воду. Прыжок, одна за другой, совершают грациозно, безупречно. Несколько широких взмахов руками, – и они оказываются на середине дорожек, блестящие, как рыбы, под гладью воды, спокойные, как катера, прекрасные, как дочери Рейна. Жюри с секундомерами досконально штудирует их физическую подготовку и отточенность техники. Здесь, в средней части, воды значительно меньше – если окрестности бордюра спортсменки называют Боденом, то центр носит негласное прозвище Баден-Бадена. Здесь девушки встают на ноги и со смехом плещут друг в друга и в судей хлорированной водой. Начинает играть музыка. С потолка сыплются хлоплушки и воздушные

шарики с портретами президентов. Пловчихи скидывают долой шапочки и очки и синхронно танцуют. У каждой в руке по жезлу с пушистым султаном. Судьи выглядят мягче, чем в начале соревнований, и в результате каждая девушка получает золотую медаль с шоколадной начинкой. Вернувшись домой, они будут рассказывать об этой «стране, стоящей на воде» с удивлением перед американским гостеприимством.

JESUS SAVES

С потолка висают куски странной, не совсем верёвочной, не совсем деревянной лестницы. Чтобы забраться на чердак, нужно поставить стремянку так, чтобы верхняя планка касалась последней, немного криво свисающей ступени, и, преодолевая качку (сегодня прилив, да и стремянка колченога), постепенно дотянуть тяжелеющие ступни до верха. Самое сложное – переступить через пропасть, разделяющую крашеное дерево планки и изъеденную червем доску на спутанной верёвке – бездонная дыра не шире четырех твоих сложенных вместе пальцев, придержанных большим. С трудом, борясь с одолевающей тебя кровью, приливающей к низу, отливающей от идущей кругом головы, ты доберёшься до изодранного в лохмотья перекрытия, тут и там заткнутого грязной, скатавшейся ватой. На четвереньках, тыкаясь носом в клубки пыли, доползёшь до антресольного окна, откинешь порыжелые платы на косточках, затыкающие толстое разбитое стекло и щели под рамой; обмотав руку каким-то толстым шиньоном, выбьешь фанерку, закрывающую вид на водяную гладь. Это единственное место, куда можно попасть, только следуя подсказкам собственного страха, подбирая колышки расколотой крыши, и отсюда виден другой берег; хотя, конечно, нельзя отрицать, что это мираж; однако, так много подтверждений тому, что глаз не обмануть. Сидя у окна, услышишь неоновое потрескивание: раньше здесь была церковь, поэтому на кронштейне, выпирающем из подоконной плиты, ещё качается красный галогенный крест: «иисус» в поперечнике, «простит» вдоль, вместо центральной «с» – всевидящий глаз, подмигивающий вместе с попеременно загорающимися горизонталью и вертикалью. Странно, что здесь ещё есть электричество. Многие лампы и дужки, конечно, поломаны, но лампа зрочка ещё цела, хотя уже мутнеет внутри. И тут ты заметишь, что фальшивые волосы не упасли твои руки от осколков – на обеих ладонях небольшие, но глубокие раны заставят тебя почти потерять и так едва уловимое сознание; ничего, подожди, где-то в этом хламе был йод, я помню с про-

шлого раза. Пока я буду ползать в поисках пухляка, раскидывая прогнившие девические принадлежности, царапая колени о ржавые гвозди, я наткнусь на палочку с колечком для мыльных пузырей, так что тебе пока будет чем заняться, и ещё вытащу телефонную трубку с автоматическим набором, в ней тебе сразу ответят и предложат услуги, и, знаешь, они действительно говорят то, что думают, потерпи, кажется, я уже нашла обезболивающее, прямо здесь, рядом с твоей тёплой и чуть-чуть влажной одеждой.

Если, рискуя свалиться в полицейскую сетку, натянутую над богатыми кварталами, ты выберешься в окно, не забудь снять обувь, чтобы не поскользнуться. Над руинами церкви, парой этажей выше, расположена клиника христианских братьев. Там занимаются очень срочными и почти бесплатными операциями – их специализация аборт и прочие ампутации. Отрезанные органы они сжигают здесь же, в электрической печи, а прах вытряхивают в прямую кишку «потрохопровода», это довольно мягкая пластиковая труба, тянущаяся на многие мили под углом к башне и уходящая другим концом в океан, рядом с небольшим рыболовецким искусственным островом. Ты дотянешься до трубки, а у меня уже готовы петли; держись крепче – чтобы быстро съехать вниз, нужен сильный толчок; представь себе, как Иисус швырял хлебы, как камни, в голодную толпу.

ПАЛЬМА

Бесполезно вытягивать руки, висая вниз головой с комнатной пальмы. Тот, кто повесил меня сюда, уже не вернётся, потому что в этом обществе возвращаться не принято, когда уже полжизни прожито и двигаться можно только вперёд. И в принципе – мне не на что жаловаться. Пальма обеспечивает меня бананами и кокосами, а зимой, в период авитаминоза, я могу жевать её кору и листья, добывая из них жизненно важные аминокислоты. Уборщица приходит поливать пальму достаточно аккуратно; иногда она забывает закрыть окно, и тогда мне слышен шум прибоя и почему-то кажется, что ещё не всё потеряно. Иногда приходят из косметологического института; они делают кремы из пальмовых ростков. Тогда пальма несколько дней не плодоносит, и мне нечего есть, зато они оставляют бесплатную пробную коробочку крема; я мажу им руки и худею; и то, и другое мне, кажется, к лицу. К тому, что голова у меня уже почти не работает, постоянно залитая кровью, я уже привыкла. Больше меня беспокоят ноги; привязанные к пальмовым ветвям лианами, они никак не хотят прививаться как следует; иногда

ПАРИЖ

лёжа на марсовом поле
 париж вытягивает ажурную стройную ногу –
 венера в чулках –
 из яркой цветочной пены подола
 красные розы; даже неважно что нога одна.
 ночью мерцает огнями полей
 глазами потоков (машины под аркой)
 один глаз белый – бельмо
 другой глаз красный – нарыв
 большая париж лечится кремом
 муссом взбито небо над аркой – ложкой
 и над другой аркой – и в рот
 почему-то ползят гноем дёсны
 разодранные коркой багета
 и внутри невскрытый нарыв
 париж выпячивает холмики сосков
 один сосок – монпарнас
 второй – монмартр
 другие сосочки
 люблю тебя париж

ПРАГА

собор святого безумия
 вита кафка галантерея до сих пор
 замок как чёрное небо без ночи
 и огни под мостом
 жернова гулко мелют блестящую воду.
 в линзу льёт отголосок
 корявой церковной стены
 и лестница медленно ставит
 большие ступени
 поднимаясь во мне до обрыва
 в чёрно-зелёную день
 автобусом пахнет бензином и взгляд
 в котловину ощупает
 зимние почки набухших цветов
 и задумчиво статую
 с бородой крестом и мечом отец и птица
 прости папа я птица
 и живыми цветами в кружке тёмного пива

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ

тяжёлой снежной глазурью
 покрыт фарш из грязи,
 московский рождественский пряник:
 каждое утро, кажется,
 этим питаются их нечистые лица.
 как отёртые зубным порошком
 до голой стонущей кости – бледные нищие
 среди скрещенных блёклых металлов
 и гибридов ступеньки с горкой
 на душных улицах
 и в прогорклом метро сквозь круги колеса
 среди чужих касаний сквозь
 мёртвое тепло размороженных звериных
 шкур:
 – нет лица – нет лица – нет лица –

меня охватывает страх, что я – неудачный дичок, или что черенковый подрез оказался недостаточно глубок. Надеюсь, что ногти на ногах, в конце концов, выпустят дочерние стебельки в подвой, и меня, наконец, перестанет беспокоить кровообращение. Тогда я, наверное, тоже снова смогу плодоносить; каждая женщина мечтает о том, чтобы выносить прекрасный плод.

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

По статистике, АМЕРИКА намного опережает другие страны по количеству пластических операций. Пластик так прочно врос в здешнюю жизнь, что представить себе жизнь без добавок к естеству практически невозможно. Даже грудных детей выкармливают из пластиковых бутылочек. Женщины, которым однажды не удалось кормление грудью, делают из этого факта далекоидущие выводы: статистика убеждает нас в том, что большинство пациентов, обращающихся в косметологические институты по поводу грудных имплантантов, верят в терапевтический эффект искусственных молочных желез, а именно – надеются на то, что пластик усовершенствует их грудь таким образом, что следующего ребёнка они смогут вскормить натуральным путём, не прибегая к помощи бутылочек. Единственный вопрос, на который пациентки получают негативный ответ, это: «Можно ли стерилизовать пластиковую грудь?» Напрасно пытаются врачи объяснить, что внутримышечные имплантанты не нуждаются в термообработке. Многие молодые мамы, стремящиеся обеспечить своё дитя абсолютной чистотой, отказываются от пластиковой груди по причинам её (вымышленной!) негигиеничности. Это очень жаль; однако же, сама природа учит нас – чем больше возможностей, тем больше сомнений.

ПТИЦЫ

Верхушки АМЕРИКИ накрыты розоватыми куполами метеорологических станций, каждая из которых заканчивается небольшой коричневой башенкой, в которой живут птицы-анаэробы. Это эксперимент биоинститута, поддерживаемый в строгой секретности. Дважды в день в установленные часы, утром и вечером, птицы совершают небольшие круговые полёты. С высоты башни представляются птицам огромными женскими грудями, а океан внизу – вяло шевелящимися генталиями. Птиц тщательно клонировали, прививая им антропоморфное зрение. Зачем?

ПОЖАР

Я работаю на среднем уровне и люблю свою работу. Мне нравится, что работ у меня несколько, и то, что на каждой из них я устаю, меня

не смущает, потому что усталость эта всякий раз разная. Когда я вхожу в док, очень пунктуально, в семь утра, не позднее, я не имею ни малейшего представления о том, куда меня пошлёт босс. Иногда я разгружаю баржи, иногда печатаю на компьютере стихи. Иногда я беру под мышку толстый словарь и отправляюсь в университет. Туда ведёт элеваторная узкоколейка. Однажды я ехала с тяжёлым театральным скриптом под мышкой ставить спектакль в университетском театре. На встречном пути была большая поломка: вагонетка завалилась на бок и польыхала синим пламенем. А я обгрызла себе все ногти, пытаюсь решиться, кому же дать главную роль – человеку, которого я люблю, или же человеку, в руках которого вся моя жизнь. В другой раз я работала в пожарной службе, тушила пожар на путях. На спектакль я опоздала, да и режиссёр из меня никудышный, и пожар был всего лишь спецэффектом, это в театрах не редкость; а ты, ты – ты сидел на соседнем сидении и не знал, куда деть руки. У тебя бледное лицо; пожалуй, придётся тебя немного подкрасить перед выходом на сцену.

КОШКИ-МЫШКИ

У меня в стенке есть замурованная женщина. Мои соседи решили устроить у себя на балконе небольшой свимминг-пул: тщательно сделали расчёты, устлали дно пластиком, вывели резиновый дренажный шланг наружу, купили приличный каркас, обложили стенки досками и, наконец, залили бетон. У моих соседей траур: в одиночасье потеряли они полдюжины кошек. Случилось так, что в работе пневмопочты случился сбой, и вместо того, чтобы доставить несколько чрезвычайно дорогих мешков со стёртыми в порошок сушёными мышиными потрохами в Институт Магии, их доставили на бетонный завод. А в основе любого завода лежит, как известно, конвейер. Мешки автоматически вскрыли, автоматически бросили на движущую ленту, автоматически вытряхнули в котёл и вместе с прочими ингредиентами мышинные потроха были переработаны в портланд-цемент. В тот день Институт Магии вынужден был отказать многим несчастным влюблённым, и моё сердце тоже, хотя и косвенно, оказалось разбито: пневмопочта, понёсшая за фальш-поставку убытки, доставила моё полное жгучего раскаяния письмо слишком, слишком поздно; теперь мне до конца жизни придётся нести в душе чувство вины за женщину, замурованную в задней стенке. И кто знает, какая смерть ждёт меня саму.

СТАТИСТИКА

Положив голову тебе на колени, я смотрю, как ты смотришь в окно. Ты непроизвольно

сдвигаешь брови и, хотя твоя рука ещё скользит автоматически по моей спине, прикусываешь губу; я вижу, как она бледнеет, становясь почти такой же белой, как зубы, и как из уголка рта выкатывается маленькая капля крови. По статистике, каждый второй страдает неизъяснимыми приступами беспокойства. Учёные списывают это на архаическую, точнее говоря, рудиментарную, боязнь высоты. Так им проще.

ПАРТИ

Андре Моруа столетия назад сказал: «Если Вам нечего сказать – говорите по-французски.» Американцы, когда им нечего сказать, а это случается, в основном, на многолюдных вечеринках, которые здесь называются «парти», говорят о кино. Больше всего они любят проводить параллели между присутствующими и актёрами или их персонажами. Иногда цитируются целые сцены или даже сюжеты. Например, часто можно услышать: «М. и Ж. находятся в фазе «Мужчина и Женщина», а К. и К. – уже в фазе «Крамер против Крамера».» Невероятно, насколько сильное влияние фильм оказывает на жизнь людей. Поэтому я взяла себе в привычку записывать всё, что говорится обо мне на парти, на подкладке моего вечернего платья от Шанель. Признаться честно, коллекция эта довольно эклектична: упоминаются вариации от Ширли Гроунз до Леонида Круста и от Человека-С-Рыбой до Седьмого Ключа. Я рада тому, что произвожу такое разностороннее впечатление. В этом есть настоящий французский шарм, несмотря на то, что моё платье всего лишь из Канады, отделённой от нас несколькими промежуточными этажами, заполненными вспомогательными конструкциями. Платье было доставлено мне экспрессным лифтом за восемь минут, преодолев десяток высокомерных этажей со скоростью около сотни миль в час. Мысль о том, какое несравнимо большее расстояние отделяет нас от Европы, заставляет меня улыбаться; на парти это очень кстати.

ДВА ОСТРОВА

Два острова покачиваются на поверхности искусственного водоёма. Водяной насос создаёт водоворот и бурное течение, обдающее брызгами нижние этажи. Я лежу голая на животе под открытым окном и пускаю то мыльные пузыри, то бумажные кораблики между башнями. Некоторые из них тонут, а некоторые преодолевают водоворот и прибывают к берегу. То и дело звонит телефон. У нас лето, жара, и надо как-то убить время, пока ты жжёшь сигарету за сигаретой в своей тесной каюте, размышляя о том, куда дуют ветры.

французская рулетка

*Слишком долго разговор
этот крутится...*

*Пристрели меня в упор,
кубик Рубика!*

(Рафаэль Левчин)

улитка ползёт по бумажке
перекатываю крошку во рту
крючок слизнячок отросток
коловертит как кульбит

французская креветка
не остри лимоном мне в нос
и тебе найдётся отрадок
соловьиный слюнявый язык

перекатываюсь из счастья
из любимых твоих волос
(ты не знаешь что я настоящая)
в вертикальный водосток

вытекаю из жёлтого сыра
как молозивая слеза
сыр со слезой – это небо
для кастрированного скота

успокойся. не плачь. не надо.
прорастают спаржей глаза.
ты не знаешь что я настоящая
как свеча на твоём бланманже.

ундина

Катэкс

растирается золотым дождём адоная
и втекает в рог изобилия
пенной шампанского гермафродита
раздета
наполовину урсула
перебираю стеклораму
куда сунуть палец
луком и уксусом пахнет женское тело
перебираю пальцы
уснула? уснула?
рыба лукреция в синем вине?

рахель и азлита (песня песней)

в волшебной трубе
раздеты до пробирок
без скафандров
в проборках и рюшках
их орхидея измята
пробуют друг друга подняв вуаль
сван и одетта
заспиртованы в ботаническом саду
рахель целует светящиеся аденоиды
фиалковой азлиты диоды
льют в вазу рахели
лукум-рафинад



Юрий Проскуряков

Опусы старой тетради

Войдя в проекцию реки
и преломясь, как пусто-пусто,
подмяла снег пустой до хруста
и в угол кинула коньки.
И вот теперь она мертва
в своем пространстве, сердцу милом,
таком морозном и застылом
и так бессмысленно права,
что я в лицо ее «приди»
хочу утаенно и немо
и зачарованная тема
сияет солнцем впереди.
Слезу стирая со щеки,
в твоём пустом пространстве белом
на поприще заиндевелом
я подобрал твои коньки.
Эрот морозный русских дев
и гений дивных песнопений
с пронзенных холодом коленей
едва я прошептал напев,
как день стал холоден и пуст,
и хлопья медлили, как годы,
стал снова смутен ход природы,
и как глоток с холодных уст
не вымолить: она ушла,
оставив крест воспоминаний,
примятый снег пустых желаний,
и вновь река была бела.
С другой ли зиму коротать
и, глядя в лед грустнотеркальный,
в ней видеть образ тот прощальный,
который не поцеловать?
Любовь, как облако из уст
среди заснеженных просторов,
в убийственности разговоров,
где каждый возглас так же пуст,
как гладь заснеженной реки,
преломленной, как пусто-пусто,
в печали, скомканной до хруста,

протянутой к тебе руки.
Уйти и сжечь черновики
в тот дивный край, где ты лежала,
и белым хрупкое сияло
и осыпалось на коньки.
Дитя не братьев и стихий,
но химерических оврагов,
ушедших в почву саркофагов,
бездушно золотых софий,
в горизонтальном и чужом
краю пустом и безпризорном,
таком холодном и просторном,
где мы себя не бережем,
ты только тень на том снегу
примятых в хруст воспоминаний,
бессчётно маленьких сияний
на миг сверкнувших на бегу.
Твой каждый образ пуст вовне
и все не фотографичен,
холмами слева ограничен,
горами справа. В глубине
сидит старинный волхв Злогор,
над ним же чешуей сверкая,
мужеподобная, святая,
полночный расширяя взор,
ты что-то шепчешь мне копьём
в снегу, проплаканном до хруста
и, преломясь, как пусто-пусто,
грозишь замерзшим соловьём.
Твоих стихов, твоей любви
в снегу хрустящем и примятом,
в чаду мелодий угловатом
хотя бы миг еще урви.
Но ты мертва – таков финал –
и расстилаешься привольно,
так от чего ж ему так больно,
зачем он в этот снег упал,
зачем я прошептал стихи?
и, постепенно холодея
все перепуталось, седея,
и вот они вошли, тихи...

* * *

Мне вспомнился Моцарт. Все также
качалось и пело,
как белая пена, летящая вслед за кормой,
чем ярче сияло, тем бронзовой тело блестело
немыслимо гибкой, дразнящей,
библейской спиной.

Вот Моцарт идет. В куртуазно
прозрачное тело,
врывается пена, летящая вслед за кормой.
Сальери катает девчонок. Какое мне дело.
Но светится след их, омытый
днепровской волной.

И матов на желтом песке золотистый пигмент!
И женственен воздух, слегка замутненный
дрожащем,
Возможно, что демон проплыл
с неземным воркованьем,
А может быть ангел,
из праздничных сотканный лент.

И матов на желтом песке золотистый пигмент!
И похотью воздух пропитан
и музыкой скверной.

Согнувшись в кустах
над любовью своей эфемерной,
он ловит момент, но момент
ускользает. Момент

пронзительно острый,
попынкой заполненный мглой,
еще не взорвался симфонией
звуков фальшивых,
и вновь этот катер, и рокот его торопливый,
и смех их беспечный, и мелкий песок золотой.

И птица затмения на миг развернула крыло,
но жизнь потекла от винта
полосой монотонной,
сверкало в зените оружие, сияло стекло
и волны стонали в истерике сладкой
и томной.

И кто их рассудит. Исчезнут холмы и река,
и тверей лесных, и небесных,
и водных хоралы.
А он все катал этих девок, текли облака,
но глубже в пещерах тонули священные Лары.

Истерика тайны. Он знал, что не жить,
не плодить
тем киевским сучкам. Гремели безбожно
литавры.
Но можно забыться и плыть с ними вместе.
И плыть
по палевой дымке в сусальное золото Лавры.

Первоснежье. Еще он добрый, но
сталь проглянет меж хмурых вежд.
Только тело – твой щит, в нем собрано
все великое счастье надежд.

Спишь ли в зеркале, лихо ль, худо ли,
колыбеля влюбленных Венер,
я вернусь к тебе тысячным Буддою
в запорошенный нежностью сквер.

Он тогда полунощным врангелем,
ледяным штыком у дверей,
ну а я дураком и ангелом,
с зацелованных алтарей.

Опечаленная и белая,
ну не смог я слова сдержать,
что ж теперь, за пределы бегая,
от любви к тебе умирать?

Увязать снегоносом, рикшею,
до границ тебя провонять,
и стихом, что печалью выкошен,
чистым всхлипом смеха убить.

Он солдат забривать подворьями
и под марши тебя спасать,
я себя растрянжирю зорями
и пущусь в степи воровать.

И к костру твоих губ целующих
языком примерзну, шая,
истекаешь ли кровью, бунтуешь ли,
то огонь, то лед, то земля.

Отогрелась бы, да невестою,
только где там, метнешь пургой
и куражишься мукой крестною
над дорогой своей другой.

Проекция улыбки на стакан,
пройдя стекло, выходит из стакана,
теперь напоминая донжуана,
а донжуан стремится на диван.
Вот он ложится с нею на диван
и что-то вынимает из кармана,
и поцелуй. О краешек стакана
стучит зубами мелко донжуан.

А за окном гремит пустой трамвай,
дождь моет стекла этого трамвая,
губной помады пятна отмывает
на кухне дон, собачий рвется лай
в ее окно, за ним бушует май,
он снова пьет за праздник первомая,

за женщин пьет, за родину... пустая
поллитра водки. Хрипло: «расстегай».

И вот темно. И дождь шуршит нигде,
они теперь никтой и нигдеи.
Ее тошнит: скорее бы, скорее,
но дон застрял, точно святой в звезде.
Он наконец уходит по нужде,
она ему: «уборная правее»,
он думает: «какая ж это фея?»
опять ошибка вышла побалде».

Потом во сне он множит города,
следы людей, блудивших городами,
вакханки обрастают бородами,
метет меж ног у каждой борода.
Они ему чужие навсегда,
с их гаражами, спальнями, садами.
Его во сне влечет к Прекрасной Даме
чтобы ему Она сказала: «Да».

И вот в какой-то рай вступает дон,
вокруг него сплошные беладонны,
на всех вуаль, везде стоят колонны,
и это уже вроде и не сон.
Но взгляд через плечо и, потрясен,
он видит силуэт свой полуконный,
и до земли, в кошмар хитровплетенный,
мотается дружок его. Бонтон

не соблюсти. Спасенья чести нет.
Ночь будет вечно длиться без рассвета.
Она пред ним. И полностью одета,
в ее руке сферический предмет.
Там, где пиджак, он ищет пистолет,
но нет подмышкой голой пистолета.
И правильно: вернуться с того света
при помощи курка – простой курбет.

Сквозь галерею золотых фрамуг
в волшебный шар закручивая туго,
она его бросает среди луга
каких-нибудь три тыщи лет тому.
Он вымолвить не может: не пойму,
как улетел я за пределы круга.
И за подругой звонкая подруга
на берегу смеются вслед ему.

И вышел из кустов другой мужик
Прославленный хитрец меж мужиками...
Он обхватил во сне ее руками,
кого-то звал, переходя на крик.
В ничто вовне проехал грузовик,
луна в окне торчала вверх рогами,
казался мир наполненным врагами.
Звонили в дверь. Он к этому привык.

Шумел прибой, и с волнами в ладу
я погружался в бешенство сирени,
когда любви сиреневые тени
являлись мне в пронзительном бреду.
В иных мирах я вновь к тебе иду,
и падаю лицом в твои колени,
передо мной обратные ступени,
надеюсь, что я вновь тебя найду.
Они мерцают, сыплются куски,
осколки позабытой серенады,
живой воды и мертвой эскапады,
и позабытых встреч черновики.
Вокруг заколки, ленты, каблучки,
тоской щемящих мыслей мириады,
в степной степи военные парады –
все это бред к тебе моей тоски.

Изящно ниспадают по стенам
из сна и плоти сотканые птицы,
я в этот час хочу тебе присниться,
припасть к твоим нежнейшим именам.
И степь да степь бежит к твоим волнам,
в которых мне уже не раствориться,
гони в кабак шофер, хочу напиться,
в сухой степи что остается нам?

Товарищ верь – она ушла давно
в тот странный мир, которым грезы полны,
где с берегом песчаным бьются волны.
Она ушла, так было суждено.
В сухой степи не все ли нам равно,
что где-то есть любви болезнетворный
горячий дух, соленый и просторный,
что не простить, не возвратиться, но
ты брось мое кольцо в ее вино –
за столиком, где пеняется валторны,
ведь мы с тобою также иллюзорны,
и страшной тайной все озарено.

И все ушли, как в море корабли,
оставив взглядов сомкнутые рифмы,
и кошки сладкой разноглазой лимфы
пропитанность на краешке земли.
Возможно мы неправильно гребли
в сырых пределах бешенства и нимфы,
развевая ног кривые мифы,
неведомо куда нас завели.

И через ветер, дождь или обман
броска волны на острые утесы

мне хочется смешать с тобою слезы –
всех восхищенных буддами нирван.
И памяти бескрайний океан
земли рассветной и простоволосой,
волной и степью гибели курносой
несет меня в твой шквал и ураган.

Разлуки вечной карантин,
когда огнем сознания болен
и царской долей обездолен,
я догорю среди осин.
Сентиментальный властелин
пространств вдвойне печальных всеу,
я тайный знак твой нарисую
печальней, чем ультрамарин.

И в это миг наедине
с собой самим, предавшись схеме,
я зашифрую твоё имя
в печальной тайной глубине.
Мы снова встретимся во сне
и в благодарности минутной
придем к замшелой и уютной
могиле в каменной стене.

И пряча в холоде воды
твой голос в незнакомой схеме,
блуждая в темной звезд системе,
еще не чувствуя беды,
я вырублю свои сады
сожгу мосты и, разрушая,
в тебе греховная, святая
найду своей любви следы.

В системе яблок и планет
след взгляда или поцелуя,
где ты, как в юности, ревнуя,
не скажешь мне ни да ни нет,
но бережно, точно кларнет,
с потоком воздуха станцуеть,
себя вторично зашифруешь
густою сеткою тенет.

Но ты меня, любимая, не ждешь.
Струится дождь, неугомонный дождь,
гноится темный глаз тысячелетий.
Возможно, это по моей вине,
что ты теперь в горячке и огне,
и между нами слез густые сети.

И не найти пути в системе слез,
не изменить фотографичных поз,
не разделить на всех горбушку хлеба,
но все-таки, пока клубится прах,
искристые бокалы на столах
полны любви и беспредельно небо.

Как заблудиться, ведь дриады спят,
на лесовоз уложенные в ряд,
в земную жизнь внося полупевучесть,
и со страниц нам льется не вино
сладкоголосых искушений, но
петь после жизни – ангельская участь.

Столица спит. На башнях фонари
мулеты света ставят до зари,
чтоб камню башен не было тревожно.
И хладен дождь. Он продолжает течь,
и прячет смерть двоякоострый меч
в трепещущие сном и жизнью ножны.

Мой теплый шепот, отражен от стен,
склонен верленом у твоих колен,
но, чуждый куртуазности и лени,
даря тебе двойной трилистник слез
и ощущая вечности курьез,
я сам молюсь замаченной сирене.

И только слез густеющий поток
вычерпывает сетью кто жесток
и втаптывает в ил и грязь растений,
не доползая до касанья рук,
не погружая звука в нежный звук,
с тобой мы разминемся в мире теней.

Орфей беспутных русских эвридик,
с землей власами сросшийся старик,
то лодочник, то путник запоздалый,
раздвинувший пространства матерьял,
тебя я в каждой встречной потерял,
в воде, в траве, в заре беспечноалой.

И вот трубит последняя труба,
она и не сильна, и не слаба,
но некуда в твоём просторе деться,
покамест вечность отворяет зрак
и я лечу в ее ревнивый мрак,
в который мне уже не наглядеться.

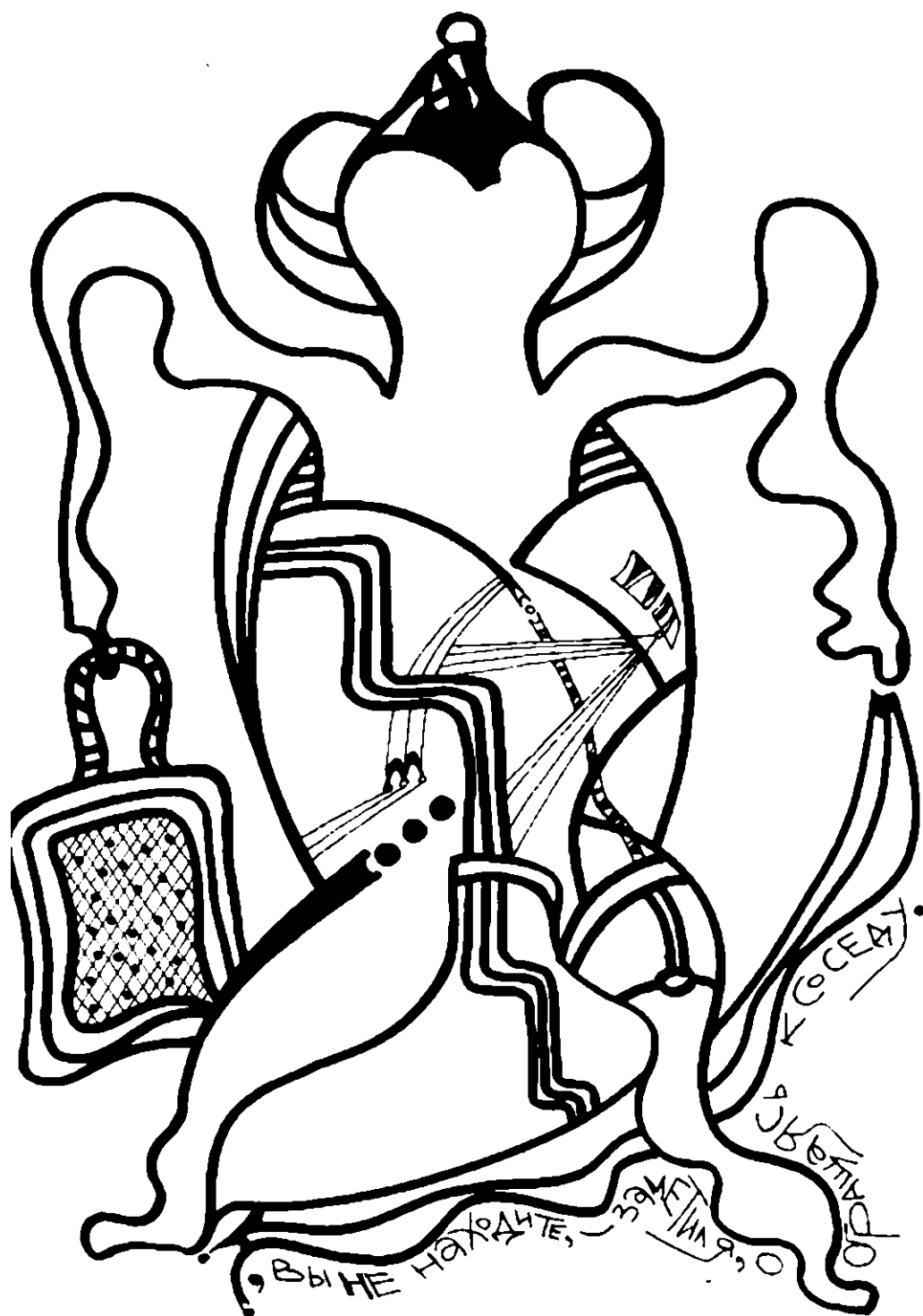
Митрич
«Возьмем, к примеру, грызунов...»



Митрич. Возьмем, к примеру, грызунов...



Митрич. Возьмем, к примеру, грызунов...



Митрич. Возьмем, к примеру, грызунов...





Рафаэль Левчин

ЮГ

непоэма

1. Музей

Герб мой присоленный, твёрдый сплав –
Тавроготики,
крымская степь, красная мать-владычица!
Рыба, ошалевая, в известняки тычется,
словно полуденный памятник моей
зачумленной гордости!

Рядом с огромным материком,
бронеколёсной глыбою
маленький Крым-велосипед,
полупрозрачный, чванится.
Каменеют рога вперемешку
с двойными рыбами.
В горном котле крепчайшее время варится.

В нём красновато распались стыд и любовь,
которыми
пористый чуткий пляж инкрустирован
наскоро...
Колыбель костяная, нагретый
прибор истории,
каплю лилового сока отдай мне, ласковый!

2.

Душа не может телу повторить,
чего ей, грешной, хочется от тела.
И тело пить пытается,
курить,
играет в секс...
Как будто в этом дело!

Тела
сбегают в грецкий монастырь,
поклоны бьют,
лбы расшибают сдуру...

Клуб чёрных душ –
огромный нетопырь –
парит.
И ветер дует с Юга.
Дует.

3. Музей, сектор настенных надписей

«Дружно ударим нашей чистой любовью
по ихнему грязному порнобизнесу!»
«Жду тебя со вчера...»
«Машина –
лучшее занятие
для мальчиков!»
«Пей до дна, ты не одна!»
«Куклу
любят все
девочки!»
«В ногах правды нет,
но счастья нет и выше!»
«Жаль мне тебя, стена,
каждый дурак на тебе пишет!»
«Сам дурак...»
«Кто там в кадре, кто за кадром –
ничего уж не понять.
Наш главреж такая падла,
раз-два-три-четыре-пять!»
«...пять кило помидоров,
три кило салатного перца,
полкило красного кусучего перца
и триста граммов чеснока...»
«...в 62-й аудитории в 16.30 обсуждение
проекта реконструкции
Вавилонской телебашни...»
«Чтобы создать реальность,
добивайтесь немислимого!»
«Приходи ко мне на пляж,
расстреляв патроны,
и со мною рядом ляжь,
невооружённый!»

4. Музей, сектор настенных надписей (продолжение осмотра)

Ещё надпись сбоку,
вроде хокку:
«Убей,
потом попробуй оживить.
И, оживив, посмей
опять убить!

Любимая,
в день встречи невзначай
день смерти для меня
не назначай!»
Рядом с ней
автопортрет.
Тела нет.
Только точка... запятая... в общем,
рожица кривая.

Через висок – гвоздиком наискосок:
«ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ.
Любимая моя,
как ты прекрасна!
Особенно,
когда,
наперевес
дензнаки взяв,
на нас идёт опасность,
и скалится ухмылкой
Венский лес.
И есть барьер.
Я точно ощущаю.
Привык.
О нём спокойно говорю.
За то, что ничего не обещаешь,
особенно тебя благодарю.
Любимая моя,
я волком вою
и погружаюсь в ненависть без дна,
когда ты не одна,
когда вас двое...
Всегда ты не одна...
Ты не одна...
Любимая моя...
как ты прекрасна...
Любимая...
моя...»

5.

Весь из ножей,
из юных женщин
и нежных жён,
был белым фосфором увенчан
Гурзуф
и заживо сожжён.

(Гурзуф – условно.
Это фон.)

6. Музей, сектор памяти, время нерабочее

Младшая научная сотрудница Неонила
Раушняк,
вспоминаая происшедшее, говорила
так:
«Облака Луне куда-то несли.
Он, конечно, сигареты посеял.
– О, – говорит, – заодно и курить бросим!..
Потом мы широкую лодку нашли.
Брюхом в песок.
Без вёсел.
Он, конечно, давай разливаться:
Мол, отдадимся на волю стихии
морской,
пусть нас несёт
мимо Турции, Греции,
сквозь Гибралтар,
к Новому Свету...

А я ему:
– Ишь, хитрый какой!
Да уберите руки!
Здесь вам ничего не светит!..

Он, конечно, в лучших чувствах своих
возмущён
и в серьёзных намерениях не обеспечен.
Но ведь нельзя же так жить, будто всё это –
дивный сон!
Когда-нибудь да проснёшься –
а ты уже изувечен!..

7. Музей,
сектор болевых точек

дай-юань – 15-17

и-щи – 26-27

шу-чу – 13-16

Замшевый воздух кожи пустой, как блюдца.
Не могу уснуть, не хочу проснуться.

Так и брожу – о боже, как долго, долго! –
между водой и жизнью,
 между бедой и домом.

Так и брожу, постоянно уснуть рискуя.
Так и дышу – то в одну ноздрю, то в другую.

Так и дышу – верблюды без ушка иголки.
Замшевый воздух кожи меня приглашает
 в гости.

Замшевый воздух кожи меня принимает
 в долю
между бедой и жизнью, между водой
 и домом...

8.

– О чём ты всё время думаешь?
– У меня привычка такая – всё время думать.
– Не может быть, чтобы это были только
мысли. Я же вижу, тебя что-то мучает. Что?
Или это нельзя сказать?
– Можно.
– Скажи.
– Потом.
– Сейчас...

9.

...Несколько шагов, и кончики её груди
ритмично подрагивают под белой тканью.
Как пёрышки самописца...

10. Письмо без адреса и начала,
здесь оно совершенно случайно

...а крик живёт в лесу
и ногтем метит девушек
простуженных.
Вот я проснулся.
Вот меня несут
топить в спирту,
как чёрную жемчужину.
Кормился
раем
и сырками плавлеными.
Да всё приел.
Как в голубом кино.
Лишь света невесомое руно
от головы,
красивой и неправильной.
Дорога
изначально нелегка.
Вот этот дом
зелёной мордой клоуна
похож на театральную столовую.
Три брата в нём живут и мясника.
Вот в этом доме женщина живёт,
копыта вместо пальцев ног имеющая.
Но, впрочем, говорит, что это мелочи,
и цокает подковкой
круглый год.
Вот здесь в тот раз стояли отдохнуть.
Хозяин вышел и послал их к матери.
И с той минуты –
слушайте внимательно! –
он вместе с нами продолжает путь.
Девчушка
вышла флагом помахать.
Похожа на тебя.
Такой же
локоть...
Товарищ с Востока
ликует жестоко.
Есть, значит, на что ликовать.
Кто умрёт – уже не воскреснет.
Надо глядеть в глаза.
Флаг – у неё,
у этих вот песня.
И все скользят...
скользят...

Мне потому ещё здесь так тяжело
в невисокосный год,
что приходится в кофейных чашках
расковыривать бежевый лёд.



11.

Блеснут осколки
стоваттной лампы
над нами –
осколками расы атлантов,
обломками башни
до стратосферы,
обмылками лимба,
рывками веры.

Генерация
из мандрагоры,
из древка, не испытанного на усталость,
это – ты,
это – я,
это – Город,
скоропись
кирпичом по металлу.

Клинка языков,
переплёты сексов,
закон, безвольней любой удачи,
это – ты,
это – я,
это – экспорт!
И это для них ничего не значит!

Мы пили, пили, мы без просыпу пили
из перламутровой чаши неба,
богов веселья себе лепили,
кормили их кровью, любовью, мясом
других
богов,
героинь,
героев,
отличников боевой подготовки.
Бродило время – осёл вокруг краба.
Наша вечность тянулась тонкой
царапкой опалы
вдоль чистой вены...
И втравлена там, где её не хватало,
бездымная формула сфер вселенной
мочевой кислотой по металлу.

Не пивная здесь и не узел связи.
Спорят бог и луна в голубом унитазе.
Память, вербующая гренадёров,
ещё обнаружит свой пасквильный нор
и пойдёт петлять снежным кроликом,
а то зубастой, жёлтой и голенькой.

Свои скульптуры,
свои поцелуи,
свои логические структуры
сажают они на края плотины,
на книжные полки,
на женские плечи,
желтеющие от безлюдья и грима...
Попадают в яблочко, целясь мимо.

Да уж лучше пусть потолки твои рухнут,
пусть корабли твои на куски распадутся,
пусть сыновья твои отрежут
отцам носы, пустые, как пасти!..

Это ты.
Это я.
Без скафандров.
Без счастья...

12.

Осень кровью слепит сквозь кристаллы снов,
зелёных, жёлтых, изнуряющих глаз,
сквозь липкие муравейники
неразделённых слов,
сквозь проборматывание
неразделённых ласк.

Кровь кормиться готова
следами пальцев твоих.
Вариантов твоих волос
в пространствах дрожь.
Отплывает, крутясь, от башни
неразделённый стих,
неумышленно подчиняя
огонь и дождь.

Я гляжу в тебя
сквозь тёмную линзу вод,
свитеров, трамваев колющий калейдоскоп...
Я живу услышать неправильный оборот.
Я живу,
как трава растёт,
засыпаемая
песком...

Херсон, 1981 - Чикаго, 1999



Виктор Иванов

ПОХОРОНЫ

1.

На клумбе из автомобильных шин
Где детский был пластмассовый гудок
И я дожил до 26 годов
Смотрелся в борщ и белый хлеб крошил

Один цветок пришел на память мне
С той клумбы где всё бархатцы росли
И воробьи барахтались в пыли
И я его воткнул себе в кашне

Что если б Ангел зорю протрубил
Петух с забора вскрикнуть испугался
И зобом в сторону водил дебил водил

И желчью плакал опершись на тумбу
Гроб был глубок и он съезжал с перил
Но ни один мертвец не приподнялся
Лишь над могилою гудел автомобиль
Гроб в Новый Свет вплывал колумбом

2.

Хор с похорон оркестр тот с парадов
Цветка протуберанец бахроме
Как сладкая с базара посторма
И сквозь кустарники ее я падал

Он был как отрок тих в своей кровати
Беспечного короткого ума
Ему желали кое-кто из мам
На смерть его глядит не без оглядки

Так было жарко что почти никто не плакал
Цветок был сорван с клумбы городской
Прощай скабрзное для жалких музыкантов

Старик курил «памир» над детской тоской
Парик висел у кадыка дискантом
А кипарис парил над улицей пустой
Над урной в которой умер Лапкин





Из серии «Творчество наших читателей»

..... (автор)

..... (название)

Михаил Богатырев

Эхо механической лестницы

«По сути дела, жизнь человека – это стандартный расклад игровых ситуаций: при каждой сдаче возможен джокер, но, как правило, все расходятся при своих», – внушал Николаю Алябьеву голос. Слова шелестели, как игральные карты в руках фокусника, при этом сдвоенные бюсты суждений выскальзывали из объема комнаты, как если бы их извлекали из-под крахмальной манжеты; аргументы же шли втемную, плоской шеренгой, не ориентированной ни вверх, ни вниз; заметно было только, как смельтешит двухцветное волокно на плоских рубашках.

Казалось, что артикуляционная мышца, лишившись координат, сокращается внутри нервной клетки. В итоге голос звучал из ниоткуда, – с ним невозможно было вступить в полемику, но, вместе с тем, от него нельзя было отказаться.

Неосмысленный взгляд Николая вновь и вновь упирался в стандартную плоскость: угол стены, серый край потолка... Какая наиничтожнейшая декорация на театре умственных действий(!), но зато какая свобода, какой мощный эффект отвлеченности от чего бы то ни было, сравнимый, разве что, с анонимным сиротством позднесоветской парковой скульптуры! Впрочем, гипсовый дискобол или бойскаут с отшибленной пятерней салюта внесли бы, пожалуй, неизгладимый отпечаток персонализма во взаимоотношения Николая и Логоса (оговоримся: дискобол возникнет чуть позже).

Голос тем временем набирал силу, конструируя внутренние механизмы жизненного стандарта, напоминающие шахматки, сокрытые под циферблатом, по которому время бежит наперегонки с тенью, но без участия стрелок:

«...До и после себя экстаз оставляет мадеполам, застиранные пеленки, это все, что было и все, что будет, – пробуждение в заколдованный круг.

Но у будничной необходимости родиться заново, на которую я сейчас намекаю, нет пересечений ни с мифом об Осирисе, ни с патетикой «вечного возвращения», ни с коаном о «нерожденном» (в пересказе московского математика с рыбьей фамилией), ни уж, тем паче, с Колесом Сансары...»

– Ну все, я, кажется, отхожу, – подумалось Николаю с какой-то вымученной, безучастной печалью. – То ли пьянею на чужом похмелье, то ли вступаю в последний предел трезвения.

«...Но ни то, ни другое, ни третье, – продолжал витийствовать голос, – не говоря уже о четвертом, не дают достаточных представлений о новаторе постэкстатической эры, уцелевшем после утраты девиза: «Вне себя – как в себе, а в себе – неволя».

Речь идет, безусловно, о человеке «текущем», но без всякой примеси эманаций Достоевского, Ду Фу, Гераклита, не говоря уже о Вергилии, явившемся Данту.

Речь идет о тех, в чьих душах столкнулись два подземных флюида: призрак Рода и призрак Театра, причем, последний возобладал... Одержимые звериной гордыней самоумаления, эти люди растратили себя напоказ; выворачивая перед другими свое нутро наизнанку, они забыли о том, каков их подлинный облик. А в положенный час, когда приходит актерам время сходить со сцены и превращаться в людей, сюжет какой-нибудь чеховской драмы оказывается замкнутым в кольцевой бесконечности самопознания действующих лиц:

– Дядя Ваня, ты почему плачешь?

– Я плачу, милая, потому что не могу выйти из роли... Заклинило что-то у меня в душе...

Ружье тем временем уберут со сцены, и кресла из зала вынесут на задворки, и когда, наконец, места соглядатаев опустеют, всем станет ясно, что театр жизни выехал в неизвестном направлении. Иллюзион закрыт. Что здесь теперь? Хранилище стекловаты?.. Канализационная секция?.. Картотека автоцитат?¹

Между тем, в зачехленном автобиографическом небе вращаются несколько дисков, насаженных на общую ось. Волевым усилием переносится восхожденец с одного диска на другой, соседний, хотя сам-то он, может быть, думает при этом, что стремится свое тело по лестнице вверх. Вверх по лестницам! – от массивной лестницы Иакова и подпорок Духа у Иоанна Лествичника до заезженного в 70-ые годы супершлягера группы Урия Хип под названием «Лестница в небо» (образ лесницы символически связан, заметим, с ожиданием обновления)...»



Голос замолчал, и Николай попытался сочетать в уме образы лестниц с начертательной геометрией диска, однако воображение его, уподобившись своему равному ремесленнику, отказывалось работать на заказ...

В себе, как в старинной радиоле, Николай неожиданно обнаружил и шкалу звука, и рукоять тембра, и какие-то генераторы, фильтры, – словом, все, чем характеризуется голос... но, вместе с тем, сменить частоту настройки Николай был не в силах. Его терзало сомнение. «Может быть, – думал Николай, – я имею дело с криком совести, а может быть, это болезненное порождение воображения...»

«Как раз в двух соснах-то легче всего заблудиться, – продолжал невидимый собеседник, – можно, конечно, довериться поговорке, гласящей: «дорогу осилит идущий», да только ни в коем случае нельзя забывать, что путь «идущего» состоит из ловушек, самую первую из которых эзотерики приморского края называли «зона прилива».²

И действительно, для того, чтобы выполнить восхождение достойно, экстазик должен наложить на свою натуру вето, «запретить себя» и жить ради ближних, то есть действовать как «пустое место».

К сожалению, в большинстве своем жертвы экстаза не желают следовать Ад-Деиру³, учившему: «неустанным трудом крепи, восхожденец, мускул малейшей жертвы, и будешь прав».

Вот тут-то и начинается «зона прилива»: эпизод «прилив», на капливаясь в котором, импульс самоограничения⁴ переносит путника от одного диска к другому, сменяется эпизодом «отлива», когда толчок самопреткновения будит ограниченную до пустоты экстаичность, переадресуя ее в прежнее русло.

Неодинакова скорость вращения дисков, «новое» подсекается «старым», оно устремляется в «старое» как в воронку, если не удерживать его под контролем.

Что же касается изолированного волевого усилия, то оно – наравне с мышечным – не в состоянии поддерживать ход иллюзий, будь то нравственный перпетуум-мобиле или некрофутуристический космос-осмос.

Без дополнительной поддержки человек засыпает, слабеет будто рыба, выброшенная на берег, и во сне переносится в точку начала движенья, подобно камню Сизифа, скатившемуся с горы.

В лучшем случае, пробуждаясь, мы кричим «ау!» в раструб внутреннего реализма (это «ау!» звучит подчас как «эй, ухнем!»), призывая самих себя сосредоточиться на остатках самосознания, которое – в целом – увы! – уже поистрепалось во многих попытках одного и того же зачина.

В худшем случае пленник экстаза считает, что он движется вверх, когда на самом-то деле его жизнь рассыпается сверху вниз, подобно колоде карт на замедленной киносъемке, она становится чередой ситуаций, в которых одни и те же зыбкие персонажи фосфоресцируют, меняют обличья, бессменно и бесцельно мерцают на границах мифологемы внутри пустого прозрачного диска, на территории «дежа вю».

Все уже было, было, и не однажды, и знакомство с каверзной стратегией послаблений, когда слабеющий сам себе внушает, что от потраты глотка живительной пневмы духовный шар не сдуется ни на йоту⁵

Были и судороги, незаметно подражающие невосполнимости жизни, судороги, напоминающие пляяду мелких, дозированных выдыханий, наподобие тех, что практикуются в школе

«дза-дзен», в кругу веселых
нео-буддистов,
расчлняющих мантру
как бамбуковый ствол
(на отдельные звенья)
треугольными ножницами
диафрагмы.

Но в отличие от адептов
дыхательных медитаций,
конструирующих
большое белое А
или на-му-а-ми-да-бу-цу,
мученик экстатичности выдыхает
свое духовное содержание
в вакуум,
не замечая,
как испаряется совесть.

Вот здесь-то его и поджидает
ловушка, своего рода капкан,
в котором действует принцип
лестницы, превращенной в воронку.

Прорываясь (в обход самое
себя!) наружу, экстатическая
натура уподобляется суфию,
припадающему на левую ногу в
классическом ритуальном круженье.

И вот уже намеренно громко
стучат мысленные каблуки по
ступеням перевернутой «лестницы
в небо», однако левая нога
устает скорее, и вокруг левой
ноги лестница-то и завивается в
спираль...»

– Да ведь все это мы уже
проходили когда-то! – раздраженно
вскричал Николай, однако,
призадумавшись, понял, что
ничем подтвердить свою правоту
не может.

Правило буравчика, выхваченное
из полузабытой школьной
программы, да куцая марксистская
спираль истории тут же сливались
с однообразными вариациями
в тональности «дежа вю».

«Почему об истинном экстазе,
– продолжал, как ни в чем не
бывало, голос, – столь мало
известно даже его адептам?

Не потому ли, что он связан
с самоотречением и тишиной,
с тем светлым состоянием
непроницаемости, о котором
молчат уста материального мира?

Ложный экстаз произошел
из стремления предстать
пред собственными духовными
очами, пре-



дав забвенью духовные взоры многих других: и ближних, и дальних.

И здесь экстафик напоминает лягушку, упавшую в глиняный чан со сметаной, сметану ж эту инстинкт самосохраненья взбивает в масло, – чем вам не консервант пустой, но подвижной телесной породы?

Под остановленным маховиком времени слова соскальзывают со своих значений, как гайки с крепежных винтов, если резьба сбита, – и вот на месте «самоотречения» значится «само-расточение», а тело строит масляный склеп.

Ну, а такая комбинация как завуалированный ложный экстаз, связана с невозможностью определить курс бытия...

О, сколь сложен расчет траектории жизни в стихийном, не-собственном времени!

Навигационные инструменты утрачены, да и как ими пользоваться без привычки?

Пребывание по инерции продолжается, но обетования нет, есть какие-то вехи, намеченные как придется, вслепую, для того, чтобы обозначить хотя бы точки возвращения в жизнь, как на краткосрочную побывку.

«Сколько раз пытался я
перестроить свою жизнь, –
воскликает Р. Ад-Деир, –
но, к сожалению, у меня под рукой
никогда не оказывалось
подходящего строительного материала.»⁶

¹ Здесь уместна автоцитата:

«...Механизмы, мы снимся друг другу
(смех в системе канализации).

Нас – в обнимку – вращает по кругу,
Мы в системе канализации.

– Это я в системе
канализации...

– Нет, я в системе
канализации

– Нет, я в системе
ка-на-ли-за-ции.....

(М. Богатырев. «Стихотворная палка», 1995)

² см. для сравнения: «...Две группы человеческих существ работают с отсутствием прилива и отлива на физическом плане, но неизменно демонстрируют тягу к работе. Это люди, которые настолько малоразвиты и так низко стоят (если можно так выразиться) на лестнице эволюции, что у них нет ментальной реакции на обстоятельства, но есть исключительно отклик на физические потребности; их время уходит на удовлетворение желаний. Последнее никогда не прекращается, поэтому мало что можно назвать циклическим их выражением. Затем имеются мужчины и женщины, которые <...> сознательно работают с циклами, которые <...> свободны от физической природы и <...> искушены в природе желания...» – Алиса А. Бейли. «Трактат о белой магии», стр. 446 первого русского издания (Новочеркасск, 1992), соответствующая 514-515 (!) стр. английского оригинала.

³ Вымышленный нами ученый, филолог и мистик, составитель «Словаря лабиринтов» (см. редакционную статью в 19 номере журнала «Стетоскоп»). Имя Р. Ад-Деир – это анаграмматическая инверсия имени Деррида.

⁴ см. для сравнения: «При рассмотрении проблемы пленников планеты и их конечного освобождения, следует помнить, что одна из сил, лежащих в основе всей эволюционной схемы, это Принцип Ограничения <...>, тесно связанный с импульсом воли и ее низшего отраженья – желания...» – Алиса А. Бейли. «Трактат о белой магии», стр. 480 первого российского издания, соответствующая 530-ой стр. английского оригинала.

⁵ см. для сравнения: «...Третий интервал <имеется в виду период молчания. – прим. автора> аналогичен периоду вдоха. В этом цикле уходящее сознание собирается и поднимается вверх. Когда успех увенчивает это усилие, сознание уходит из того, что называется личностью, аспект механизма, и становится измененным сознанием...» – Алиса А. Бейли, указ. соч., стр. 467 русск. изд., аналог. стр. 515-516 англ. ориг.

⁶ Здесь уместна автоцитата: «Мыслящий магнит воспоминания пытается извлечь из омота автобиографии утраченные детали жизнестроительства. Но по мере того, как гибкое щупальце продвигается вниз, структура настоящего времени заполняется пессимистическими подробностями. Надежда вырваться за пределы строго очерченного круга становится все более потаенной, в качестве ее синонимического заместителя выступает какой-нибудь «Принцип недостающего звена» или «Знак единственности всего сущего», то есть, моноидея, насыщенная концептуальной любознательностью ко всему неразгаданному, патогенному, и потому непрерывно мигрирующая между рассудком и безрассудством.

Практическая польза моноидеи весьма относительна. Задействованный в ней механизм замещения напоминает сломанный переключатель велосипедных скоростей: рычажок перемещается от одного деления к другому, а цепь знай себе скользит все по той же шестерне».

(М. Богатырев.
«Дневник1», 2000).



ПОЭТ КАК ПАЦИЕНТ. К ВОПРОСУ О ЗАНИМАТЕЛЬНОМ ЦВЕТАЕВЕДЕНИИ

(Л. Фейлер. Марина Цветаева. Издательство «Феникс». Ростов-на-Дону. 1998)

Биография всегда лжива, но некоторые биографии лживей других. Это биографии поэтов. Тут двойная сложность: поступка и текста. Соблазн посплетничать о поэте тоже – двойной: сплетня получается не совсем сплетней, как-то возвышенной и серьезней, поэт же, как правило, мертв и ответить не может. Но я не только о жанре, ибо знаю, как трудно противиться этому могучему инстинкту. Говоря в этой статье об очередной, на этот раз американской, биографии М. И. Цветаевой, я имею в виду прежде всего ее русское издание. То, что по иноязычию своему, относительной для нее новизне предмета и культурно-географической удаленности может не знать автор, обязаны были заметить переводчик и исправить редактор. Потому что голову ведь все равно отрезает в конечном итоге, как мы знаем, «русская женщина, комсомолка».

А о жанре – потом.

I.

Книга Лили Фейлер «Марина Цветаева», переведенная на русский с английского и изданная в Ростове-на-Дону, попала ко мне случайно. То, что на заднюю страницу обложки вообще не надо заглядывать никогда, по крайней мере, в наше время, я уже знала. Поэтому взглянула лишь сейчас: «Полная драматизма жизнь Цветаевой рассказана в великолепных подробностях» (Симон Карлинский, автор книги «Марина Цветаева: женщина, ее мир и ее поэзия»).

Прежде чем говорить о «великолепных подробностях», поговорим о переводе, ибо именно с языком, в первую очередь, имеем дело (встречают по одежке). Перевод сей чудовищен, переводчик не знает толком английского, редактор не знает русского, оба не знают и не любят стихов. Образцы первого: «он никогда не позвонил» вместо «он так и не позвонил» (видимо, в оригинале было: *he never called*). Сборники Цветаевой упорно называются «коллекциями» (т. к. по английски: *collections*) – не то собрание марок, не то показ мод. Или: «Пастернак был потрясен коллизией, когда прочел.» – речь идет о «Поэме Горы» и «Поэме Конца», грубо говоря, о драме, в них заключенной. Или: «По словам дочери, Цветаевой очень нужна была лесть Пастернака» (с. 214) – не знаю уж, что там было в оригинале, но я бы все же поискала другое существительное, может быть даже ссылку нашла: по-русски, чтоб не мучиться. (Простой опыт: попробуйте на секунду представить реакцию обоих на этот невинный пассаж.) Или вот, загадочные выражения типа: «Она не возражала против переводческой работы, но упустила поэтические чтения...». Можно предположить, что в оригинале было «*missed*» в смысле «ей не хватало», но стоят ли эти загадки наших мозговых усилий, тоже вопрос. Интересно другое: что, в России уже переводчиков с английского не стало?

Есть, однако, в издании нечто такое, перед чем меркнет все вышеперечисленное и неперечисленное, включая названия глав: «Пробуждающаяся сексуальность», «Лесбийская страсть», «Страсть и отчаяние»... Итак:

Глава «Во мраке революции». С. 119. «...*Действительно, Мандельштам в стихотворении, написанном вскоре после возвращения от Цветаевой, говорит, что «остаться с такой туманной мошной означает наклепать беду».*

Читатель, не знакомый с Мандельштамом, объясняю: знаменитые русские стихи даются **в обратном переводе с английского**.

Поговорим и о редакции, самой простой и очевидной. Трогательно, что книга, написанная в жанре, основанном на убеждении, что **факты важнее стихов**, факты-то, прежде всего, и перевирает. Тут уж не до изысков. Дата рождения Цветаевой приведена неверно как 9 октября, год гибели Мандельштама указан 1937 (Мандельштам погиб в 1938, по современным данным, 27 декабря). Стихотворение «Новогоднее» названо поэмой. И т. д., и т. д.

Потрясает сочетание ученой дотошности (действительно, использована масса текстов, в том числе архивных, наверняка проведены годы в библиотеках) – с какой-то трогательной основной малограмотностью. «*В пути Цветаева написала письмо Эфрону, официально обращенное к нему на «Вы» (с. 127).* Невозможно поверить в то, что автор (и редактор перевода) не знают того, что знает в России любой читающий стихи Цветаеву подросток, а именно, что Марина Ивановна и Сергей Яковлевич **никогда** иначе друг к другу и не обращались, что не было в то время ни манерностью, ни отчужденностью, ни официальностью.

Или же – простодушные сообщения вроде: «*1 сентября без особой на то причины в Москве была арестована ее сестра Ася» (с. 364)* А у миллионов других людей той же участи эта причина была?

Признаюсь: я уже дано привыкла и не испытываю и тени той боли, которую испытывала когда-то, читая книги этого плана, особенно – о людях, которых люблю. Книги эти почему-то всегда попадают к нам в жалком виде, в жирных пятнах, как будто сам жанр приглашает не церемониться, читать с бутербродом. Наша же книга настолько лубочна, что вообще никаких чувств кроме восхищенного «во дает!» не вызывает. О глянцевой обложке в стиле детективов раскрепощенной эпохи 90-х и с портретом что твой Кипренский, мы не будем говорить. Ладно, издержки времени, да и жанра. Внутри – кладбище прилагательных. Без этих трогательных, ничего не значащих словечек не обходится ни одна фраза. Поэма Горы – *значительная*. Рояль, разумеется, *великолепный*. («*В центре великолепного салона стоял мамин великолепный рояль*»). Если отповедь – *гневная*, если мужчина – *то молодой и красивый*.

Речь идет о женщине, тем более – о Марине Цветаевой, поэтому про мужчин (и женщин, и женщин!!) – особенно интересно. В книге спешно, как в поезде, в котором попутчикам ехать недолго, рассказываются подряд *истории*, из которых, по убеждению автора и состояла жизнь М. Ц. «*Цветаева также познакомилась с Марком Львовичем Слонимом, молодым, красивым критиком...*» (с. 191). «*Молодой красивый мужчина...*» (Вишняк) (с. 194) И далее везде.

Что-то тут такое родное слышится. Вопреки явного почтительного восхищения американского автора Цветаевой – что это за наше русское, застенчивое покашливание да подмигивание, эффект, создаваемый, помимо всего прочего, обилием бредовых кавычек, типа «*Эфрон тоже искал «дружеское плечо».*

«*Глядя в прошлое, Цветаева даже немного жалеет его* (Мандельштама – И. М.)» И тут я понимаю, что напоминает нам этот разговор: опровергнутые и высмеянные самой Цветаевой



в «Истории одного посвящения» некие мемуары «о том, как у нее не было романа с Мандельштамом» (издатель заодно уж переврала и заголовок самой цветаевской статьи там, где о ней заходит речь, назвав ее «Историей посвящения».)

И, наконец, апофеоз занимательного литературоведения:

*«Заключение поднимает интересный вопрос:
...Что победа твоя – поражение сонмов,
Знаешь, юный Давид?» (с. 225-226)*

И тут мы заканчиваем о прилагательных и тоже переходим к интересному, хоть и скучному: к стихам.

II.

Почему нас так интересует именно Цветаева? Потому что была поэтессой. Отчего же не стихи читать?

Цитата из книги Л. Фейлер: *«Конечно, ни письма, ни стихи не дают реалистической оценки страстного увлечения Цветаевой Вишняком»* (с. 194) Ключевое слово тут: – «реалистической.» За что я люблю книгу Фейлер, так это за трогательную прямоту подобных утверждений. Есть биографии и более основательные, но все они, за редким исключением (не заявляя это так же прямо, как честная американская исследовательница), основаны на этой аксиоме из записных книжек Ильфа: «главное не Шекспир, а комментарии к нему».

И правильно. Ведь для кого пишутся эти книги (оставим в стороне вполне самодостаточный интерес самого автора к предмету – только ведь, в отличие от предмета, сами биографы отчего-то редко пишут «в стол»)? Для любителей стихов? Но их ничтожное меньшинство, людей, которые, по выражению Цветаевой, *хоть на полчаса* готовы стихи предпочесть всему остальному. И меньшинство это в «биографиях», да еще сомнительных, да еще дурно написанных, вряд ли нуждается: у них есть тексты стихов и прозы.

А людей, к стихам равнодушных, никакая посторонняя книга к душе (а ведь речь тут **о душе**, правда?) и уж, конечно, стихам Марины Ивановны – не приблизит.

Все становится на свои места, если спросить себя: а хотела ли бы существования этой книги сама Цветаева? – Нет. Читала ли бы, если была б жива? – Да, с отвращением, возмущением, ужасом, отчаянием.

Не нужно, не нужно психоаналитических биографий. Читатель сам должен быть психологом, аналитиком и еще очень многим. Это его работа. Это для него написано.

Не надо быть психотерапевтом, чтобы почувствовать безнадежность ужаса – материнского, супружеского, дочернего – в утрашающем по отваге, сверхъисповедальном рассказе Цветаевой «Страховка жизни».

Ничего не нужно, кроме стихов к Парнок или «Поэмы конца», да, может, кому-то еще пары примечаний, чтобы понять, чем были эти двое для М. Ц. А сравнив эти стихи с гармонической, словно по окружности обручального кольца идущей нежностью стихотворения «Писала я на аспидной доске», обращенного к С. Эфрону, – почувствовать оттенки этих разных любовей. А «Повесть о Сонечке»? А все остальные, все без исключения – не открытые даже: разверстые стихи и проза?

Одна из учительниц литературы моего детства препариование очередного по программе литературного героя начинала неизменно так:

«Характер NN – сложный и противоречивый.» Так вот, как ни крути, а получается все равно сплетня. Сложная, противоречивая, но сплетня.

Я, кстати, против автора этой книги ничего не имею. Лили Фейлер наверняка человек добросовестный. Она много трудилась и написала книгу, которая ей, по крайней мере, человечески и профессионально, была важна. Я несколько не сомневаюсь в искренности ее интереса к личности и стихам Марины Ивановны Цветаевой, хотя не совсем понимаю, как именно она эти стихи видит и слышит. Я, между прочим, ей за эту любовь благодарна, как и за труд.

Будучи человеком американской психоаналитической школы, Фейлер упор сделала на детство М. Ц. и отношения ее с матерью. Самое интересное в книге из написанного самим автором – это все связанное с детскими стихами Цветаевой, обращенными к матери, **уже** по-цветаевски конкретных и исповедальных). Другое дело, хотела ли бы (в конце жизни) М. И. их публикации. Только все равно: и эти ранние, слабые для Цветаевой стихи интереснее их толкований.

То есть, тут хотя бы все вроде правильно, хоть и не Бог весть как ново, и можно было бы это все вынести, если б не свойственная психотерапевтам увеселительная категоричность суждений и уверенность в том, что им лучше, чем автору стихов и писем понятно, что делается у того в душе. *«Поразительно парадоксальное сочетание в Цветаевой способности постижения собственной души и самообмана»,* – пишет автор на стр. 149. – *«Она знала, что она «проектирует»* (привет от переводчика. – И. М.), *«домысливает» людей, но в то же время отрицает осознание этого. Следует только перевернуть этот отрывок наоборот* (ну да. – И. М.), *и мы получим верную* (вот именно. – И. М.) *картину.»* Далее автор **перedefиьивает** цветаевский пассаж, чтоб вышло **верно**.

Подобный метод прикиновения в чужую душу использован много раз, он особенно плодотворен там, конечно, где речь идет о привязанностях Цветаевой. *«Поклонение Ахматовой, по-видимому, отражает большую часть собственного вымысла Цветаевой и ее ностальгию по Софье Парнок»* (двойной привет от переводчика и от редактора), стр. 123.

Но спасибо хоть за это «по-видимому».

Не могу молчать не потому что не могу молчать. Я, в принципе, могу и помолчать. Пером моим ведет вовсе не желание раскритиковать или поиздеваться, а удивление: это на таком уровне мы пребываем?

Живя в стране психотерапевтов, литературу все чаще представляешь себе в виде большой палаты с пустыми кушетками, к которым прибиты таблички: ЦВЕТАЕВА. РИЛЬКЕ. ЧЕХОВ... Пациенты больше не сопротивляются, они мертвы. Пиши в свой журнал, что хочешь.

Что касается Цветаевой, то хоть и надвигается некоторое возбуждение в связи со скорым открытием архива, но мы, слава Богу, уже пережили столетний юбилей, а двухсотлетний – еще не скоро. До следующего обхода цветаеведов еще далеко. Может, хоть на время перестанут писать, начнут читать.

Ирина Машинская, Нью-Йорк



В библиотеке «±Стетоскопа»
вышли в свет следующие книги:

Михаил Король.
INVALIDES. Стихи. – 48 с.

Алексей Смирнов.
Ядерный Вий. Рассказы. – 120 с.

Кароль К.
Verba et voces. Стихи. – 74 с.

Антон Козлов.
MUNAS. Стихи. – 36 с.

Михаил Богатырев.
Без права переписки. – 68 с.

Готовятся к печати:

Митрич.
Книги о художниках.
(Серия из трех книг: «А», «Б», «Ъ»)

Подписка на книги производится
в редакции журнала.

Спешите!!!

Помните, что книга –
лучший подарок!

Над номером работали:

Ольга Платонова, steto@club-internet.fr
Михаил Богатырев, steto@club-internet.fr
Александр Елсуков, stetoskop@mail.ru

Для писем:

Platonova Olga, 37 rue Simart, 75018 Paris
Телефон: 01 42 59 07 40

ISSN 1295-4918

Часть тиража оформляется
как раритетное издание

Журнал издается
при поддержке издательства «Синтаксис»

Электронная версия журнала:
<http://stetoskop.da.ru>

**Издатели: Митрич+БогатыРь
Париж 2001**



издатели: Митрич+Богатырь
париж 2001